

Е. И. КИЙКО

ДОСТОЕВСКИЙ И ГЮГО

(Из истории создания «Братьев Карамазовых»)

Творчество Гюго вызывало у Достоевского неизменный интерес. Он считал, что автор «Отверженных» чуть ли не первый призвал к восстановлению «погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков» (XIII, 526). Достоевский восхищался психологической глубиной образов, созданных Гюго, а некоторые «удивительные этюды» (II, III, 206) французского романиста надолго завладевали его художественными помыслами, побуждая к творческому соревнованию. Так, автор «Братьев Карамазовых» в параллель к Жаверу из «Отверженных», который родился «от матери с улицы, чуть ли не в укромном уголке»,¹ создал свой вариант «подкидыша» — Смердякова.²

Сочувствуя многим идеям Гюго, называя его лириком «чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии» (II, I, 58), Достоевский тем не менее не во всем с ним соглашался. Отпор Достоевского, например, вызвало характерное для Гюго истолкование революционного террора во Франции в 1793 г. как «исторической необходимости».

Так, намечая в черновых набросках 1874 г. к «Подростку» круг проблем, которые должны были обсуждаться в кружке Дергачева, прототипом которого был А. В. Долгушин (см.: 17, 299—302), Достоевский сделал следующую запись: «Король Людовик XVII, сапожник, репают у Долгушина, что правы, читают Виктора Гюго» (16, 65).

Упомянутый здесь Людовик XVII, сын казненного короля Франции Людовика XVI, был отдан на воспитание сапожнику, а затем умер, всеми забытый, в тюрьме в 1795 г. в возрасте де-

¹ Лит. наследство, т. 86, М., 1973, с. 66.

² См.: Кийко Е. И. Из истории создания «Братьев Карамазовых» (Иван и Смердяков). — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 2. Л., 1976, с. 125—129.

сяти лет. Трагическая судьба этого ребенка обсуждалась в европейской публицистике XIX в. Противники революции, ссылаясь на участь, постигшую малолетнего наследника престола, обвиняли деятелей якобинской диктатуры в жестокости. У монархистов Людовик XVII вызывал сочувствие еще и как король, которого превратили в подмастерье сапожника. В одной из глав «Былого и дум» Герцен в связи с этим писал: «Т. Карлейль, утешая людей, слишком умилявшихся над судьбой несчастного сына Людовика XVI, сказал им: „Это правда, он был воспитан сапожником, т. е. получил то дурное воспитание, которое получили и теперь получают миллионы детей бедных поселен и работников“».³ В данном случае Герцен вольно перевел суждение Карлейля, высказанное в труде «Французская революция. История» (Книга VI, Термидор, глава III, «Голлеги»).

Гюго в начале своей литературной деятельности также посвятил Людовику XVII оду (напечатана в 1822 г. в сб. «Оды», кн. 1), в которой изобразил его судьбу, с точки зрения сторонника монархии.

Впоследствии взгляды Гюго изменились.⁴ В 1846 г. маркиз де К. д'Э. обратился к Гюго с письмом, в котором упрекал его за отречение от легитимизма и с одобрением вспоминал оду «Людовик XVII», написанную поэтом четверть века тому назад. Отвечая своему корреспонденту, Гюго писал:

Как, оттого <...>
Что я, родясь в кругу старинном и богатом,
Глазми прадедов научен был смотреть <...>
Что, видя мальчика невинного удел,
Я смерть Людовика Семнадцатого пел <...>
За то, что королей я прославлял тогда,
Я должен в глупости погрязнуть навсегда?
Я должен времени: «Назад!» кричать, идее:
«Стой!», светлой истине: «Проваливай скорее!»⁵

Имя Людовика XVII появляется и на страницах романа «Отверженные» (1862).

Защищая идею «милосердия», епископ говорит бывшему члену революционного Копвелта:

— «Вы разрушили. Разрушение может оказаться полезным, но я боюсь разрушения, когда оно сопровождается гневом.

— У справедливости тоже есть свой гнев, господин епископ, и этот гнев справедливости является элементом прогресса. Как бы то ни было и что бы ни говорили, но Французская революция — это самое могучее движение человечества со времен пришествия Христа. <...> Она была исполнена доброты. Французская революция — это помазанье на царство самой человечности.

³ Герцен А. И. Собр. соч., т. IX, М., 1956, с. 200.

⁴ Об этом см.: Трескунов М. Виктор Гюго. Изд. 2-е. М., 1964, с. 46—201.

⁵ Гюго В. Собр. соч., т. 12, М., 1956, с. 389.

Епископ не мог удержаться и прошептал:

— Да? А девяносто третий год?

С почти зловещей торжественностью умирающий приподнялся в своем кресле и, напрягая последние силы, вскричал:

— А! Вот оно что! Девяносто третий год! Я ждал этих слов <...> Вы предъявляете иск к удару грома.

Епископ, быть может, сам себе в этом не признаваясь, почувствовал легкое смущение. Однако он не показал виду и ответил:

— <...> Удару грома не подобает ошибаться. — И, в упор глядя на члена Конвента, он добавил:

— А Людовик Семнадцатый?

Член Конвента протянул руку и схватил епископа за плечо:

— Людовик Семнадцатый! Послушайте, кого вы оплакиваете? Невинное дитя? Если так, я плачу вместе с вами. Королевское дитя? В таком случае дайте мне подумать <...>

Наступило молчание. Епископ почти сожалел о том, что пришел, и в то же время он смутно ощутил, как что-то поколебалось в его душе.⁶

Очевидно, в революционном кружке Дергачева, по замыслу Достоевского, должны были читать и обсуждать именно это место из «Отверженных» Гюго. Не исключена возможность, что Достоевский мог иметь в виду и роман «Девяносто третий год», который вышел из печати в начале 1874 г. В этом романе один из героев — Симурден, обосновывая историческую необходимость беспощадной расправы с врагами революции, говорит Говену, ратующему за «республику милосердия»: «Революция отсекает старый мир. И отсюда кровь, отсюда девяносто третий год».⁷ С точки зрения этого героя, участь Людовика XVII была предрешена его принадлежностью к королевской фамилии. В ответ на слова Говена: «Будь моя воля — я выпустил бы дофина на свободу. Я не воюю с детьми» — Симурден говорит: «Знай, Говен, надо воевать с женщиной, когда она зовется Мария-Антуанетта, со старцем, когда он зовется папа Пий Шестой, и с ребенком, когда он зовется Луи Капет».⁸

Историческая неизбежность революционного террора с публицистической обнаженностью была сформулирована Гюго в ноябре 1871 г. в письме к Леону Бюго, защитнику одного из участников Парижской Коммуны: «... когда потрясения проходят, когда колебания прекращаются, является история со своим инструментом для определения истины — разумом — и отвечает первоначальным судьям следующим образом: Девяносто третий год спас страну, террор предотвратил предательство <...> царубийство покончило с монархией <...> конфискация поместий эмигрантов вернула пашню крестьянину и землю народу, разру-

⁶ Там же, т. 6. М., 1954, с. 52—53.

⁷ Там же, т. 11. М., 1956, с. 233.

⁸ Там же, с. 231.

шенные города, Лион и Тулон, скрепили национальное единство. Двадцать преступлений, а в результате благоденствие — французская революция».⁹

Таким образом, в оценке событий 1793 г. у Гюго-художника и Гюго-публициста противоречий не было.

Подросток, а с ним и Достоевский, не приняли точку зрения французского романиста. Вслед за приведенной выше заметкой из подготовительных материалов к «Подростку»: «Король Людовик XVII, сапожник, решают у Долгушина, что правы, читают Виктора Гюго» — следует текст: «Но встает молчаливый Н. (молодой человек 24-х лет и самый яркий социалист; впоследствии по суду коновод и наиболее попавшийся) и решает, что нравственный вопрос в том, что хотя бы вся Франция провалилась, что число миллионов населения ничего не значит и т. д. Долгушин и проч. не согласились. Этот молодой человек произвел на Подростка наиболее впечатление прекрасного, и он, когда в грусти ищет человека и симпатии — заходит к нему» (16, 65). Несомненно, что Подросток проникся симпатией к «молодому человеку» именно потому, что тот на первое место в развитии человеческого общества выдвинул «нравственный вопрос» и «решил» в соответствии с этим, что гибель малолетнего Людовика XVII нельзя оправдать даже интересами всей Франции.

Намеченный эпизод не был реализован в романе «Подросток», однако судьба Людовика XVII, гибель которого, как считал Достоевский, была одним из самых трагических следствий Французской революции, продолжала волновать писателя.

Работая в 1876 г. над статьей о деле Кронеберга, встав на защиту ребенка, которого истязали его собственные родители, то есть вторгшись в область чисто семейных отношений, Достоевский вспомнил о Людовике XVII, личности исторической. И маленькая дочь Кронебергов, и Людовик XVII в равной степени вызывали сострадание у Достоевского и порождали мысль о несовершенстве человеческого общества. Наброски к статье о Кронебергах перебиваются следующей записью: «Людовик XVII. Этот ребенок должен быть замучен для блага нации. Люди не компетентны. Это бог. В идеале общественная совесть должна сказать: пусть погибнем мы все, если спасение наше зависит лишь от замученного ребенка, — и не принять этого спасенья. Этого нельзя, но высшая справедливость должна быть та».¹⁰ В приведенной заметке, сделанной в феврале 1876 г., повторялась мысль, высказанная ранее в набросках к «Подростку». В дополнение к сказанному прежде Достоевский подчеркнул лишь трагический разрыв между «сущим» и идеальным «должным». Таким образом, не называя имени В. Гюго, Достоевский продолжал начатый с ним прежде спор. Справедливость высказанного

⁹ Там же, т. 15. М., 1956, с. 563.

¹⁰ Лит. наследство, т. 83. М., 1971, с. 422—424.

утверждения подкрепляется и записью, сделанной несколькими месяцами спустя, в апреле 1876 г. по тому же поводу: «Victor Hugo — историческая необходимость (Louis XVII); не необходимость, а неминуемость, это я пойму с хищным типом хищного народа французского».¹¹

О сути расхождений Достоевского с Виктором Гюго в понимании европейского исторического развития можно судить по заметкам в той же тетради, откуда взяты приведенные выше суждения, и по главе июньского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г., посвященной смерти Ж. Санд.

Достоевский, как и Гюго, неоднократно отмечал неумолимую «логику» западноевропейского исторического процесса.¹² В главе о Ж. Санд, признав историческую закономерность возникновения социализма во Франции в начале XIX в., Достоевский проследил его развитие и переход от утопических форм к «политическому социализму»,¹³ а в записной тетради того же времени отметил «реальность и истинность требований коммунизма и социализма и неизбежность европейского потрясения».¹⁴ Достоевский готов был допустить, что «политический социализм», основывающийся на «науке», в конце концов приведет общество к атеистическому «золотому веку».

Однако, признав все это, Достоевский тут же поставил под сомнение неизбежность «закона науки», который в его истолковании сводился к тезису: «Нет любви, есть один эгоизм, т. е. борьба за существование». Он писал в связи с этим: «Новое построение возьмет века. Века страшной смуты. А ну как всё сведется лишь на деспотизм за кусок. Слишком много отдать духа за хлеб».¹⁵

«Закону науки» Достоевский противопоставил «закон любви», который приведет общество к той же цели, но без насильственных жертв, и путь к братству будет значительно короче: «Если любить друг друга, то ведь сейчас достигнешь», — уверял он.¹⁶

Таким образом, Достоевский признавал, что принцип «неминости» определяет характер развития европейского общества, но отнюдь не отождествлял этот принцип, как это делал Гюго, с законом исторической «необходимости». Достоевский считал, что развитие общества путем «смут», «крови» и «деспотизма за кусок», то есть развитие, лишенное, с его точки зрения, высшей нравственной цели, может и должно быть прервано по желанию людей, стоит им только согласиться жить по «закону любви».

¹¹ Там же, с. 520.

¹² Эта проблема нашла отражение в романе «Подросток» (см.: Кийко Е. И. Русский тип «всемирного боления за всех» в «Подростке». — Русская литература, 1975, № 1, с. 156—158).

¹³ См.: Фридендер Г. М. Реализм Достоевского. М.—Я., 1964, с. 23—25.

¹⁴ Лит. наследство, т. 83, с. 446.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же.

Раздумья писателя о несовершенстве человеческого общества, о трагической разорванности «текущей действительности» и «идеальной справедливости» нашло отражение и в его последнем произведении — в «Братьях Карамазовых». Автор этого романа вел полемический диалог со многими идейными противниками, одним из которых был и Виктор Гюго. В главе «Бунт» Иван Карамазов затрагивает проблему «страдания человечества вообще», но для того чтобы «уменьшить размеры <...> аргументации раз в десять», говорит «о страданиях одних детей» (14, 216). Он рассказывает здесь о событиях современной жизни, получивших отражение в периодике того времени. В черновых же набросках к этой главе упоминается и имя Людовика XVII. Вслед за восклицанием Алеши, что генерала, затравившего ребенка собаками, надо расстрелять, следует реплика Ивана: «— О, если уж ты говоришь „расстрелять“! Слушай еще <...> Louis XVII, отрубить всем головы» (15, 229). Таким образом, по первоначальному замыслу свой «бунт» Иван должен был подкреплять и примерами, взятыми из Французской революции. Как это было и раньше, при работе над «Подростком», Достоевский отказался от обсуждения исторических событий, и имя Людовика XVII в «Братьях Карамазовых» не упоминается. Тем не менее скрытая полемика по этому поводу с Виктором Гюго здесь присутствует, и поручена она Ивану. Обращаясь к Алеше, Иван говорит: «... представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей <...> И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?» (14, 224).

Иван делает здесь широкое обобщение, и его упрек в несовершенстве мира адресован самому «архитектору» «здания», т. е. богу, но одновременно он обращен и к Гюго, утверждавшему, что смерть малолетнего короля Франции хотя и была «преступлением», но «преступлением», совершенным во имя благоденствия французского народа.

Иван — герой-атеист — генетически связан с Раскольниковым, Ипполитом Терентьевым и Ставрогиним. В то же время существенное значение для формирования этого образа имел и «молодой человек» из кружка Дергачева, персонаж, контуры которого были намечены Достоевским в подготовительных набросках к «Подростку». «Молодой человек» сочетает в себе, с точки зрения Достоевского, казалось бы, противоположные начала: он «самый ярый социалист», но при этом выдвигает нравственный критерий решения социально-исторических проблем и, споря с Гюго, отрицает историческую необходимость революционного террора.

Сходные противоречия присущи и Ивану. Он восстает против гармонии, купленной ценой страданий человечества, но не понимает, «как можно любить своих ближних». По его мнению, «отвлеченно еще можно любить ближнего <...> но вблизи почти ни-

когда» (14, 215—216). По словам Зосимы, Иван, у которого «сердце высшее, способное такую мукою мучиться» (14, 66), находится в поисках истины. По мнению старца, если вопрос о боге и бессмертии души никогда не решится Иваном в положительную сторону, «то никогда не решится и в отрицательную». Именно незавершенность мировоззрения Ивана позволила Достоевскому в некоторых случаях сделать этого героя выразителем близких ему самому идей.

Говоря о трагических коллизиях, присущих человеческому обществу, и о страданиях детей, Иван в сущности выражал точку зрения Достоевского и повторял сказанное им от собственного имени в «Дневнике писателя».¹⁷

Несмотря на то что автор «Братьев Карамазовых» и в некоторых других случаях поручал Ивану высказывать его собственные мысли,¹⁸ герой этот был задуман как идейный антипод Достоевского. Ошибка Ивана состояла в том, что он «искажил Христову веру», «соединив ее с целями мира сего» (15, 198), т. е. сделал бога ответственным за дела людей, в то время как бог предоставил им самим решать, что есть зло и что есть добро.

Единомышленником Достоевского в сцене объяснения братьев является Алеша. На вопрос Ивана, согласился бы он «основать здание» на «неотмытых слезках ребенка», он ответил: «— Нет, не согласился бы»,¹⁹ по вслед за этим Алеша напомнил Ивану о Христе: «... ты сказал сейчас: есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но существо это есть, и оно может всё простить, всех и вся и за всё, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за всё. Ты забыл о нем, а на нем-то и соиздается здание, и это ему воскликнут: „Прав ты, господи, ибо открылись пути твои!“» (14, 224).

Итак, склоняясь пред тайной человеческого бытия, Достоевский тем не менее на протяжении всей своей жизни, во всех своих произведениях не переставал напоминать человеку, что в его власти преодолеть стихию зла, восстать и соприкоснуться с высшим идеалом: «Логика событий действительных, — писал он, — текущих, злоба дня, не та, что высшей идеально-отвлеченной справедливости, хотя эта идеальная справедливость и есть всегда и везде единственное начало жизни, дух жизни, жизнь жизни».²⁰

¹⁷ Например, Иван излагал обстоятельства дела Кропсбергов и Брунст, привлеченных к суду по обвинению в истязании своих малолетних детей, о чем писал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1876 г. и в частных письмах (см.: 15, 553—554).

¹⁸ См.: 15, 417—419.

¹⁹ В черновых набросках эта реплика имела другой вариант: «Нет, еще не могу. Еще не могу» (15, 228).

²⁰ Лит. наследство, т. 83, с. 424.

Р. Л. ДЖЕКСОН

ВЫНЕСЕНИЕ ПРИГОВОРА ФЕДОРУ ПАВЛОВИЧУ КАРАМАЗОВУ*

В «Анне Карениной» проведен взгляд на виновность и преступность человеческую. Взятые люди в ненормальных условиях. Зло существует прежде них. Захваченные в круговорот лжи, люди совершают преступления и гибнут неотразимо: как видно, мысль на любимейшую и стариннейшую из европейских тем.

Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя» за 1877 год (XII, 209).

... он получил свою мзду.

«Братья Карамазовы» (15, 126).

Настоящая статья является частью главы, посвященной Федору Павловичу Карамазову в готовящемся исследовании о «Братьях Карамазовых». Автор разграничивает осмысление фигуры Федора Павловича в его человеческой целостности (когда он не выступает как предмет суда Достоевского) и ту, условно говоря, «объективную» трактовку начал, воплощенных в этом образе, получающих у Достоевского также метафизическое истолкование, которые приводят героя к неизбежной гибели.

Внутренний мир Федора Павловича раскрыт многосторонне, даже в тех начальных сценах, где отчетливо чувствуется весь роковой характер его действий. «Не злой Вы человек, а исковерканный», — замечает Алеша (14, 158). Именно в этой характеристике Федора Павловича, более чем где-либо, Достоевский обнаруживает стремление утвердить, что зло, которое мы видим в человеке, далеко не всегда может служить показателем полной ги-

* Настоящая статья была напечатана во 2-м томе сборника «Достоевский. Материалы и исследования» (с. 137—144) в сокращенном виде, так как количество и листаж поступивших в редакцию статей превышали объем тома. По желанию автора редакция помещает статью полностью.